Zeit-Räume (Wiener Slawistischer Almanach 49, 2003, 309-346)

Галина Орлова (Ростов-на-Дону)

РОЖДЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЯ: ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ САКРАЛИЗАЦИЯ В СТРАНЕ СОВЕТОВ (20-е)

Появление вредителя изменило советскую реальность, радикально преобразовав агитпроповские истории о классовом враге и его мощи, способах локализации в социалистической действительности, методах контрреволюционной работы и версиях политической причинности. Политическая онтология зла, складывавшаяся в СССР во второй половине 20-х, стала одним из оснований для формирования и трансляции этого образа незримого, универсального и вездесущего противника.

Шахтинский процесс вошел в советскую историю как дебют вредительства. В первые дни судебного разбирательства корреспондент *Правды* Д. Заславский обозначил идеологически верную интерпретацию вредительства как явления исключительного по своей психологической, профессиональной и политико-метафизической сути:

> Вредитель – это новое слово в советском словаре. Раньше такого слова не было. Вернее, этот термин применялся только к насекомым, птицам, портящим посевы... Вредитель, это был какой-то жучек-кузька, подгрызающий молодые стебли. Вредитель, это какой-то червь, подтачивающий балки строений, тля, портящая виноградники. Среди людей до сей поры такой профессии не было. Те люди, что причиняли вред, не были непременно вредителями. Не было, во всяком случае, массового и профессионального вредительства... Никогда и нигде не было сознательного и систематического вредительства. Никогда не было такого вот упорного изо дня в день подтачивания, выедания, порчи орудий производства и хозяйственной организации... Сколько угодно было небрежения, лени, наплевательского отношения, но не вредительства..

Рефрен небывальщины, несущий убеждающую силу заклинания, выглядит довольно неожиданно на фоне советского политического дискурса 20-х, в который задолго до дела об экономической контрреволюции в угольной промышленности были включены и модели политико-правовой рецепции экономической контрреволюции, и сам конструкт «вредитель».

Чтобы ответить на вопрос, что заставило корреспондента *Правды* (предположительно, человека политически грамотного) воспринимать вреди-

тельство и вредителя как новообразования в структуре советского антимира и тем самым обнаруживать противоречия между декларируемой новизной и существующими политико-правовыми кодами, следует выяснить, как формировались представления о вредительстве и какие семантические мутации претерпел конструкт «вредитель» к марту-апрелю 1928 года; какие трансформации в психологии враждебного персонажа сделали возможной активную эксплуатацию и последующую агрессивную экспансию этого конструкта во все сферы деятельности; как изменялись матрицы интерпретации производственных дисфункций и определяющие их специфику нарративно-дискурсивные структуры каузальности; наконец, в чем своеобразие стратегий создания образа вредителя и вредительства в ходе шахтинского процесса. Собрав воедино эти эпизоды, мы получим версию рождения вредителя, которая позволит рассмотреть этот политический процесс в динамике – от первых упоминаний конструкта в советском политико-публицистическом дискурсе до формирования канона вредительства.[1]

Прошлые жизни «вредителя»

В первой половине 20-х «вредители» существовали внутри сельскохозяйственного дискурса и были опознаваемы как «животные, повреждающие культурные растения или вызывающие их гибель, снижающие урожайность и качество продукции». Еще в 1924 г. *Правда* знакомила читателя с агрохимическими методами противостояния врагу, весьма далекому от посягательств на советский строй: «Производящиеся Добролетом опыты по борьбе с вредителями путем распыления ядов с самолета протекают вполне успешно» (12.09.24).

В начале 1925 г. в рамках кампании против частных собственников на селе В. Петров поместил в *Правде* (№7) небольшую заметку «Вредители», впервые в советском политико-публицистическом дискурсе идентифицировав отрицательный политический персонаж с пакостными насекомыми:

> Много на селе вредителей, есть полевые, садовые, огородные, амбарные, но самые вредные и отвратительные – это вредители советской сельской общественности. Их можно встретить всюду: в кооперации, в рике, на базаре, на мельнице, на сходе. Всю-

[1] В качестве маркера канонизации рассматривается эпизод всесоюзной кампании по подготовке к чистке в сентябре 1929, когда из-за несоответствия социальному образцу был забракован смоленский плакат «В своем аппарате выявляй вредителя»: «Рабочие говорили, что тип вредителя дан совершенно неправильно». Изображенный на плакате «разбойник с большой дороги» противоречил уже сложившемуся в массовом политическом сознании интерпретативному коду, в котором ключевой характеристикой модного политического персонажа выступала скрытность («тот, кто вредит таясь»).

ду они – «свои люди» – мило улыбаются властям, говорят о своей любви и преданности советской власти и тут же крадут и разрушают советское имущество и ускользают от ответственности.

В качестве родового признака вредителя – жучка и человека – выступали деструктивная природа и способность причинять серьезный ущерб хозяйству. Подчеркивалась тотальность, а значит, и иерархичность этой разновидности вреда. «Вредители советской сельской общественности», поставленные автором во главу угла, были расценены не только как максимально преуспевшие во зле, но и более отталкивающие, чем клещи, слизни, саранча, грызуны и другие нечистые животные. Приписываемая вредителю вездесущесть превращала его в неотъемлемый элемент действительности, структурирующий и оправдывающий традиционный тип советского поведения – борьбу, а также персонализирующий и поясняющий причины сбоев в проведении заготовительной кампании.

Обращает на себя внимание отличительная черта нового асоциального типажа – его подчеркнуто двойственная природа, ставшая позднее одним из психологических маркеров типического вредителя 30-х гг. Эта двойственность не только актуализировала контраст между добрым словом и злым делом, но и по-своему подтверждала декларируемую вездесущесть виновника хозяйственного ущерба, позволяя перенести поиски врага из традиционных зон его обитания – контрреволюционного подполья и агрессивного зарубежья – на не вызывавшую прежде подозрений советскую территорию (кооперацию, РИК, сход). Незаметность, вытекающая из социально-политического расщепления персоны, позволяла примерять нелицеприятную идентичность «вредитель» к широкому кругу хозяйствующих субъектов и советских работников.

Политический статус первых советских вредителей был незначителен, однако уже в первой их классификации вне зависимости от разделения деструктивного труда (крупные вредители разрушают социалистическое имущество, а мелкие ослабляют управление и вызывают его дисфункции) был зафиксирован одинаково серьезный итог их деятельности: «Есть еще другая порода вредителей – маленькие, незаметные, подобие долгоносиков. Сидят они в риковских канцеляриях и точат… точат… в результате видим целое имущество расхищенным, видим бесхозяйственность и волокиту». Петров не просто вводил очередной конструкт в актуальный язык описания административно-экономических дисфункций, а закреплял за вредителем статус виновника разнообразных бед советского хозяйства (от краж до волокиты). В 1925 г. было довольно сложно предположить, сколь удачным окажется это начинание. А пока «вредитель» был закован в иронические кавычки, обнажавшие инородность этого конструкта языку власти. Ко времени

шахтинского процесса кавычки исчезли – реальность под конструкт была зарезервирована.

Нельзя сказать, что после заметки В. Петрова к «вредителю» пришла известность, и он вошел в ядро советского политико-публицистического дискурса. И все же конструкт не был отвергнут. В 1926-1927 гг.. он периодически использовался для маркировки злоупотреблений в сфере кооперации и торговли, порицания хищений, подлогов и растрат. Судя по появлению в *Правде* в 1926 г. рубрики «Вредители кооперации» (№ 75, № 229), вредитель прочно обосновался именно в этой сфере.

Здесь образ по-прежнему сохранял связь с маленьким вредным насекомым, а потому был лишен сакральности. Сложно увидеть злобный пафос и серьезную угрозу политическому строю, например, в профанном описании проступков завмага Коршунова (*Правда*, 28.04.27): «С течением времени Коршунов стал просто красть товары». По крайней мере, эти порочащие советского человека действия были лишены идеологической основы, а временами могли проходить по ведомству криминальных курьезов. Так, причину финансовой путаницы в делах кооператора Старостина корреспондент видит… в «манере носить в своих карманах все документы по получению и отпуску товара» (*Правда*, 2.04.26). Объяснения довольно эпизодичному использованию конструкта можно искать в отсутствии самостоятельного семантического поля у «вредителя», который пока что лишь выразительно дублировал активно порицаемые слабости хозяйствования – бесхозяйственность, халатность etc.

Интерпретация вредительства претерпела принципиальные изменения в начале 1928 г., за месяц до публикации сообщения прокурора Верховного Суда о раскрытии контрреволюционного экономического заговора в Донбассе. Вредитель все так же существовал в альтернативном аграрном пространстве (например, 15-о февраля вредители были замечены в деле хлебозаготовок и размещены в континууме от «кулацкого скупщика до компотозея включительно»), но его статус изменился: «…где кончается «мелкое» и начинается «крупное» в действительности не различишь… Мелкие недостатки и преступления неслучайны. Они порождаются психологией работников, общими недостатками работы…» (*Правда*, 8.02.28). Этот примечательный пассаж взят из небольшой заметки «Мелкие вредители», посвященной отпуску сельским кооперативом сукна «налево» в период дефицита. Зафиксированное в тексте размывание грани между «маленькими проступками» и «большими преступлениями» сегодня можно рассматривать как пробу новой политико-правовой риторики, в рамках которой опасность определяется уже не калибром проступка, а его особым качеством –

дефектной психологией работников – и базовыми свойствами трудовой активности, вынесенными за пределы сиюминутности.

Накануне шахтинского процесса в главной партийной газете были намечены очертания другой реальности, в которой не существовало досадных случайностей, где за «мелкими недостатками» стоял маленький носитель большого зла, а экономические неудачи проходили по ведомству души.

Внутренний враг: агенс опасности

Рабочая концепция детерминации душевной жизни оказала серьезное влияние на стратегии конструирования отрицательных политических персонажей, оценку их поступков и разработку карательно-исправительных техник. Политическую подоплеку профессионально-психологических штудий можно обнаружить в речи А. Залкинда на съезде психоневрологов в 1924 г. Советский педолог поставил вопрос о связи между детерминацией психических состояний и метафизической проблемой борьбы со злом (к которой так основательно подходила новая власть):

> Далеко не закончился еще напряженный и шумный спор: зависит ли душевная жизнь человека, в конечном счете, от каких-то особых, внутри человека находящихся законов или же ею в основном руководят общественные условия? Кто порченный? Человек ли виноват в той сложной психологической путанице, которая в нем совершается или же его запутывает эксплотаторский хаос капиталистического строя? …Это далеко не теоретический спор, так как разрешение его в ту или иную сторону по-разному перерабатывает и практику борьбы со злом (Залкинд, А. «Кто порченный?», в: *Правда* 6.05.24 (№100)).

Тогда (и не только для выступавшего) этот вопрос был решен в пользу виновности «хаоса капиталистического строя», уверенности в кардинальном влиянии общественных условий на личность и легализации тезиса «среда заела» в качестве весомого аргумента в споре о мотивации девиантного поведения. Выступая в апреле 1924 г. на пленуме ЦК с докладом о советской карательной политике видный большевик А. Сольц отмечал:

> Чем больше власть укрепляется, чем больше борьба принимает характер, так сказать, изживания тех капиталистических навыков, которыми люди жили до революции, тем более и суд должен принимать иной характер – в общем и целом более воспитательный, чем карательный.

Возведение внешнего локуса контроля в психологический стандарт эпохи позволило дозировать степень личной ответственности за проступки, поли-

тическое амплуа и идеологический статус.[2] В этих условиях политические чужаки определялись анкетными методами: социальное происхождение, образование, имущественный ценз и место работы становились свидетелями обвинения. В то же время карательные технологии в отношении человека с хорошей анкетой скользили по поверхности. Например, рабкор Еремей Черный сообщает о судебном казусе, когда хулиган-пролетарий был идентифицирован, скорее, как жертва старого режима, нежели как виновник происшествия:

> Слесарь Максимов, сорокалетний рабочий-мастер, ударил во время работы кулаком в грудь ученика Полетаева за то, что у него соскочил с руки молоток... Суд рассматривает поступки тов. Максимова как отрыжку старых рабских привычек и считает возможным смягчить наказание, считая приговор условным и надеясь, что тов. Максимов исправится (*Правда*, 23.05.24).

Психологическая конституция индивида оставалась вне подозрений в политической ущербности. Оптимизм и надежды власти на исправление социально дефективных субъектов в условиях нового строя задавали интерпретативные рамки, в которых даже провокатор с хорошей рабочей родословной имел шанс начать другую жизнь (*Молот*, 20.08.24 – «Правильно ли осужден провокатор Терещенко?»):

> Если бы суд нашел, что для государства Терещенко опасен и является активным врагом его, если бы он признал, что Терещенко является неисправимым элементом и злостным, он вынес бы ему высшую меру наказания. Но он этого не признал и подошел к делу с точки зрения классового самосознания и советского законодательства, найдя, что Терещенко является членом рабочей семьи, что активность свою он не настолько проявил и что для общества он не является неисправимым (подписано – «Прокуратура»).

Безнадежных злодеев («активных врагов») политическая культура эпохи раннего нэпа может пересчитать по пальцам. Это, прежде всего, внешние враги и их собирательная личина «зверь капитал», а также радикальное крыло обширной группы политического риска – «бывших людей» - кулак, поп, белый офицер, жандарм. Сформированные в нездоровой старорежимной среде и отвергающие свой единственный шанс на политико-антропологическое преображение – среду социалистическую, – эти люди с точки зрения советской власти неисправимы, поскольку проявляют преступную социальную ригидность. Политический дискурс эпохи позволяет безошибочно различить субъектов, подлежащих каре и нуждающихся в исправлении:

---

[2] См. Лебина, Н.Б. 1999: *Повседневная жизнь советского города: 1920-1930 годы*, СПб. Автор описывает переход от утопических представлений власти об уровне и характере преступности (и других социальных аномалий) в обществе к признанию абсурдности правового оптимизма как процесс формирования новой ментальной нормы.

> Искусство заключается в том, чтобы заставить старых спецов работать в направлении, необходимом для рабочего класса. Но надо создавать такие условия, чтобы старые спецы не сбивались на старую капиталистическую линию: надо с достаточной быстротой не только вышвыривать тех, кто использует свое положение с преступными, предательскими и шпионскими целями, но также и исправлять тех, кого тянет к старой колее просто потому, что вся его натура сложилась в капиталистических условиях (*Правда*, 17.04.24).

Достойны внимания не только психологические основания этой классификации (лабильность/ригидность прочитываются как возможность/невозможность исправления), но и отказ от внешней (социальной) детерминации поведения при характеристике деятельности изгоняемых со службы спецов. Преступные, предательские и шпионские цели, по мнению автора, не могут быть объяснены, исходя из формирующих влияний среды.

Пластилиновая антропология политического авангарда переходит в монументальную незыблемость тоталитарного человека. Эта перемена, наметившаяся в 1924-1927 годах, изменила очертания психологии классового зла: склонность к антисоветской активности потеряла внешнюю обоснованность (вместо биографических, сословных, имущественных признаков на первый план вышли индивидуально-психологические маркеры), в рамках советского дискурса стали исчезать и гибкость человеческой судьбы, и подвижность социальной идентичности.[3] Чистка 1928-29 годов со всей очевидностью выступила уже как критика биографии, разделяя советских граждан на совершенно плохих и очень хороших людей по определению власти.

Объективация интериоризированной злобности и политической дефективности нашли отражение в психо-идеологическом клише «внутренний враг». Строго говоря, аргументируя появление инженеров-вредителей, внутреннего врага не пришлось изобретать. Только вот в более ранних версиях использование этого конструкта позволяло акцентировать собственные проблемы, одновременно дистанцируясь от них. Например, в 1919 году красноармеец писал с фронта: «У нас тогда было два врага: внешний – казаки и внутренний – необразованность и недисциплинированность» (*Известия*, 23.02.19).

В развернутой классификации классовых врагов, обнародованной Н. Бухариным на 8-ом съезде комсомола (май 1928 года), эта функциональная характеристика внутреннего врага как будто была сохранена. Партийный

---

[3] А. Базен называл эту этическую реинтерпретацию изначальной определенностью сущности субъекта в советской истории, имеющей мифологические основания: «...Понадобился ретроспективный пересмотр истории, чтобы доказать, что обвиняемый с самого момента рождения был предателем, трезво осознающим и продумывающим эти действия, а сами эти прошлые действия, следовательно, были частью дьявольски закамуфлированной акции саботажа». См. «Миф о Сталине в советском кино», в: *Киноведческие записки*, 1989, 165.

вождь разделил всех врагов на явных (к ним он отнес кулаков – «обнаженная и наиболее злобная физиономия врага»), замаскированных (церковные и сектантские организации), идейно перерождающихся («антисемитизм перерастает в фашизм продувных бестий») и внутренних («враги внутри нас самих»). Подобная дефиниция внутреннего врага наводит на размышления о политической одержимости и позволяет рассматривать собственные пороки (в данном случае бюрократизм, алкоголизм, мещанство) как разновидность чужого зла (агентов классового противника) и непосредственную социальную опасность. Включение в политический дискурс абсолютного зла, его личин и психологических проекций сделало востребованными клерикальные образы и пафос: «Разве эти пороки еще не гнездятся в ваших рядах? А они помогают классовому врагу (здесь – эквивалент врага рода человеческого, Г.О.)... Человек прежнего строя боялся начальства и ада с его чертями и сковородами... Мы должны отвечать иногда вещами более суровыми, чем угрозы с того света».

Более серьезной вещью оказалась вводимая в политический обиход персонализация социального зла, ставшая основанием для формирования советской демонологии. Например, бюрократизм, по мысли Бухарина, «может носить непосредственно классовый характер, когда в порах нашего аппарата сидят остатки старорежимных господствующих классов, которые нас активно саботируют или тихо и систематически «итальянят»». Интересно, что причины бюрократизма были обнаружены в персональной дефективности отдельных советских служащих, а не во внешних условиях их трудовой жизни и деятельности, как это делалось раньше. Логика перехода в политических интерпретациях от внешних (социальных) к внутренним (квазипсихологическим, органическим) причинам дисфункций может быть восстановлена следующим образом. Спустя 11 лет после революции, когда остатки старого режима, казалось бы, были изъяты из новой жизни, во-первых, существуют явления, не совместимые с пафосом советской действительности, а, во-вторых, красные бюрократы продолжают демонстрировать стиль деятельности царского чиновника. Значит, причины социальных дисфункций необходимо искать не в средовых влияниях, а в порченых субъектах, сохранивших враждебный порядок в себе. Эта версия находит подтверждение и в речи А. Андреева, одного из секретарей ЦК, на всесоюзном съезде железнодорожников в июне 1928 г.:

> Они (старые царские чиновники) иногда залезают незаметно в наш советский и хозяйственный аппарат, вносят туда элементы своей буржуазной культуры – взятку, бюрократизм, чиновничество. Вот откуда берется разложение советского аппарата (*Правда*, 5.06.28).

Радикальное разочарование политических элит в возможности сотворения из старого человеческого хлама непорочного советского человека привело к изменению установок в области практической социальной антропологии: вместо пластичных субъектов и влиятельного общественного порядка на политической сцене начали действовать агенты добра и зла. Когда зло стало рассматриваться как атрибут внутренней сущности враждебного социального субъекта, основными задачами власти оказались уже не преобразование и исправление заблудших, а выявление и ликвидация агенса опасности.[4] Смена приоритетов нашла отражение и в брутально-медицинском языке описания социальных бедствий («остатки», сидящие «в порах нашего аппарата», «разложение», питающееся «алкогольными парами»). Очаг заразы был обнаружен внутри общественного организма, перманентно патологичного: «... Мы постоянно должны смотреть и на свой собственный класс, и на самих себя, для того, чтобы не упустить тех огромных язв, которые сидят непосредственно в теле нашего организма». Теперь в каждом таился потенциальный источник социальной опасности, а враждебная психология оценивалась как заболевание: «Балтайтис – худший представитель русской интеллигенции, зараженный узко-корпоративной психологией» (*Известия*, 12.4.24).

В условиях политического карантина советский человек должен был осваивать новые техники диагностики и профилактики – бдительность и самокритику. Только эти политико-перцептивные и политико-рефлексивные инструменты позволяли обнаружить ускользающего противника, который в силу своей незримости, укорененности во зле и пугающей общности со здоровым ядром советской жизни («вместе с нами растут наши враги») демонизировался.

---

[4] А. Безансон рассматривает борьбу советской власти со злом как поэтапное разрушение реальности на пути к трансцедентальному социальному идеалу. В этой перманентной деструкции он различает уничтожение политического противника, разрушение реальных и потенциальных очагов сопротивления и, наконец, разрушение всего, что может быть названо реальным: «Однако тут партия обнаруживает, что социализма как свободного и саморегулирующегося общества по-прежнему не существует, и что для его наступления по-прежнему требуется принуждение. Между тем, согласно учению, существует лишь две реальности: социализм и капитализм. Значит, реальность сливается с капитализмом, и на третьем этапе следует разрушить все, что реально...». См. Безансон, А. 2000: *Бедствие века*. Москва, 52.

Психология зла и ее структура

Внутренний враг соединял в себе соответствующую советскому стандарту форму поведения и идейно чуждое душевное содержание. Может быть, именно поэтому *двурушничество* оказалось одним из актуализированных в советском политическом дискурсе конструктов, маркирующих злобного субъекта и проливающих свет на его темный психический склад: «Тов. Сталин уже давно сказал, что враг меняет свое внешнее обличье. Он маскируется. Он действует тихой сапой» (*Большевистская печать*, 1930, № 12).

Двурушничество может быть определено как социальная множественность, транскрибированная во второй половине 20-х в множественность политико-психологическую. В рамках советского политического дискурса складывалось представление о неограниченных возможностях двурушника в усвоении актуальных политически-правильных кодов поведения («Враг сидит в советских учреждениях, прикрываясь личиной лояльного гражданина») и в ролевых трансформациях: «Начинаешь понимать, почему окрестили его шахтеры «четырехглазой собакой»: слишком уж много у этого человека разных масок, и каждую он умеет довольно прилично и естественно носить» (*Правда*, 24.05.28). Эта способность к социальной мимикрии позволяла обосновать высокую вероятность обнаружения политического противника среди «своих», становилась аргументом в пользу его виртуозной вездесущести и исключительного положения в иерархии классовых недругов: «Враги пробираются во все наши организации. Они овладевают нашим доверием и зло морочат нас. Они притворяются нашими преданными друзьями и потому опаснее открытых врагов» (*Правда*, 6.07.28).

Истинное лицо врага, методы, а зачастую и результаты его антисоветской деятельности находились в сфере, недоступной взору обывателя. Но их постоянно наблюдали и делали очевидными для всего советского народа политические посвященные – кормчие революции. Например, на 15-м съезде ВКП(б) Сталин обозначил лики оппозиции: «У оппозиции два лица: одно – фарисейское – лаковое, другое – меньшевистски-антиреволюционное... Можно ли терпеть дальше эту двойственность, это двуличие?».[5] Естественно, что рано или поздно именно такая политическая двойственность была обнаружена у всех оппозиционеров. *Известия Северо-Кавказского крайкома* ВКП(б) в №21 за 1929 год писали:

> Двурушнически обманывая партию, скрывая от партии свои действительные взгляды, Сорцев и Ламинадзе, возглавлявшие конспиративные, фракционные, давно существующие группы, вели подрывную работу против ЦК и генеральной линии партии.

[5] Сталин И. Собр. соч. т.10, 358.

И правда, в политическом пространстве, сжатом до генеральной линии, двойственность была, по крайней мере, неуместна, воспринималась как манифестация политически чуждой реальности. Она подлежала искоренению не только в профессиональной или политической сферах, но и в частной жизни. Граждане, не соблюдающие одномерность взглядов и позиций, могли быть интерпретированы на языке власти как враги. Кстати, одним из признаков виновности шахтинцев стало сохранение двойственности в быту: «На людях они все лояльны… Но после работы они все – свои люди! – встречаются в старых домиках, где все осталось как было, и тут, за картами, за вином развязываются языки…» (*Правда*, 20.05.28).

Советский политический дискурс различал несколько разновидностей multiple personality: темпоральная множественность (люди бывшие/настоящие), социально-пространственная (на работе/дома), не менее опасным становилось тиражирование имени: «Передавали, что Куркин – это вовсе не Куркин, и не Афанасий Константинович, а совсем другое лицо». За такими «самозванцами» маячила множественность психологическая, идеологическая, а главное, – онтологическая.

Безупречный с точки зрения власти субъект должен был демонстрировать непрерывную самотождественность в индивидуальном и социальном пространственно-временном континууме. Сама возможность социально-психологической или политической эволюции в интерпретативных рамках победившей революции подвергалась радикальному сомнению. Отрицательная аксиология подвижек в поведении и мировоззрении человека зафиксирована в таких конструктах, как «грехопадение», «перерождение», «разложение» и, наконец, «превращение»: «Человеку превратиться во вредителя можно только при такой душевной опустошенности, которая граничит с полным культурным одичанием». Согласно этой логике, политический мутант находится за пределами человеческого, демонстрируя максимальную степень враждебной отчужденности.

Во избежание непредсказуемых и опасных метаморфоз советский человек наделен фиксированной идентичностью, прозрачность которой должна регулярно демонстрироваться власти (скажем, в ходе тех же кампаний самокритики). Всякий выход за пределы присвоенно-декларированной идентичности был не только подозрителен, но и преступен. Тем более что советский политический дискурс позволял выделить из множества ролевых позиций и социальных версий «я» истинное лицо политического субъекта, относительно которого все прочие модификации рассматривались как личины скрытого врага. Так, в фельетоне А. Ландау «Пуховая перина» на чистую воду выводится советский управленец Соломатников, обличенный в

двойственности (это подтверждено визуально – две стороны одной медали – партийная и обывательская, представленная периной, бутылкой и иконкой):

> На людях в сутолоке занятий, собраний, заседаний М. Соломатников носит аккуратно пригнанную маску. Для Соломатникова в маске социалистическая фабрика – святая святых… А про себя он рассуждает (реконструкция истинного «я» – Г.О.): «Я хочу иметь уютный уголок, жить счастливо, наслаждаться в хорошей пуховой перинке».

Пространством, в котором реализовывалось инобытие политического двойника, как правило, оказывалась душа. Обвиняемый по делу шахтинских вредителей Элиадзе указывал на политический характер конфронтации социального действия и душевного содержания, эксплицированного и неэксплицированного:

> … Говорю, что весь технический персонал за очень малым исключением, одним миром мазан и одинаково ненадежен для советского строя… посыплется целое море громких резолюций о порицании отщепенцев и отмежевании от них, но это на бумаге, а в душе – другое (*Правда*, 10.05.28).

Содержимое души тоже могло быть расщеплено по политическому признаку: «Правда, многие из них (бывших – Г.О.) сочувствуют и работают с советской властью для того, чтобы вредить ей». Сам по себе конструкт «сочувствуют и работают… чтобы вредить» – абсурден, если не допустить параллельного существования нескольких психических инстанций – душ, субличностей etc., способных проявлять эмпатию, трудовую солидарность и деструктивную антипатию целеполагания одновременно. Увидеть внутреннего врага можно, лишь обладая способностями душевидца, позволяющими обнажить запятнанную классовым злом душу (поскольку деятельность внутреннего врага порой бывает безупречна). Осуществить эту процедуру можно только в рамках особых практик политической перцепции: «Исключительную важность приобретает критика, которая позволяет уловить «хвостик» антисоветской, вредительской работы чуждых нам сил» (*Правда*, 16.05.28).

Образ внутреннего врага актуализировал присущую традиционной культуре отрицательную сакральность психической двойственности: «…Но шахтер не в состоянии постичь, как умел так дьявольски спокойно, с улыбкой, с ясностью взгляда продавать, предавать» (*Правда*, 23.05.28). Соседство двух несовместимых для советского наблюдателя психологических регистров – «спокойствия», «ясности взгляда», «улыбки» и измены (которая имела довольно четкие конституционально-психологические очертания) становится демоническим знаком двоедушника.

Двурушниками постоянно называли оппозицию и уклонистов, но впервые осознание (признание) собственной двойственности было получено на шахтинском процессе от вредителя – инженера Скорутто: «У меня вся работа

шла при полном раздвоении личности... с одной стороны – с маленькой, я должен был вредительствовать, а с другой, - я не мог не принимать участия в заманчивом громадном строительстве...» (*Правда*, 26.06.28). Политико-психологическое раздвоение оказалось конституциональной характеристикой вредителя, порожденного заинтересованностью власти в нейтрализации и искоренении психических содержаний, не соответствующих идеологическому стандарту.

Помимо множественности враждебная психология отливалась в отдельные душевные свойства, подвергшиеся идеологической инвентаризации в политическом дискурсе второй половины 20-х гг. Враждебная психологическая триада – так можно обозначить комбинацию этих политико-психологических характеристик враждебной, перерожденческой или разлагающейся психологии – в развернутом виде была представлена в деле астраханских вредителей (1929 г.), обвинявшихся в развале местного хозяйства и потакании частнику. Однако ее формирование и использование для маркировки и обнаружения политического противника начались значительно раньше – еще в 1926-1927 гг., в период борьбы с троцкистской оппозицией. В отшлифованном виде этот комплекс выглядел следующим образом:

> У одних персонажей астраханщины работа на частника была прямой грязной изменой, купленной за сто, пятьсот, тысячу рублей... у других головотяпских, дурацких, бесхозяйственно действующих лиц услужение частнику явилось следствием слепоты, слабоволия, неясного представления о смысле классовой борьбы... у третьих, «политических астраханцев», потворство частному капиталу вытекало из неверия в силы рабочего класса и социалистического хозяйства. (*Правда*, 2.07.29)

Нетрудно заметить, что обоснование неприемлемым с точки зрения власти действиям астраханцев найдено в их политически-дефективной психологии. Речь шла лишь о ее инвариантах – измене, политической слепоте или неверии. Они будут рассмотрены в порядке возрастания политической значимости.

«Неверие» и сопутствующие ему маркеры политической экспрессии («черный пессимизм», «скептицизм», «уныние» etc.) в рамках советского политического дискурса использовались для фиксации непростительной слабости советского характера. Эти черты политико-психологического склада делали советского человека беззащитным перед искушениями классовой борьбы, а потому были предельно политизированы («рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, перехода от увлечения к унынию»). Дефицит веры мог быть обнаружен в разных сферах («неверие в линию партии», «самый черный пессимизм и неверие в силы рабочего класса», «отсутствие веры в возможность развития промышленности страны в условиях советского строя»). Самое страшное обвинение, которое могло быть предъявлено

«неверующим» – и оно было предъявлено «астраханцам» – наличие альтернативной веры: «Не было веры в эти силы («силы рабочего класса и социалистического хозяйства», Г.О.). Во что же была вера? В «здорового частника»...». Использование этих квазипсихологических маркеров для политической идентификации отчетливо проступает в «фольклорном» тексте из «Безбожника у станка» (1930, №3):

Кто стоит за пятилетку –
Большевик и коммунист.
Кто не верит в пятилетку –
Меньшевик и уклонист.

Распускают, льют слезу
Маловеры-нытики
А мы выпустим грозу
С громом самокритики.

Второй компонент враждебной психологической триады фиксирует гипофункцию (или дисфункцию) идеологически значимых психических процессов – *политической воли*, *классовой зоркости* (а вместе с ней глобальной перцептивно-политической характеристики – бдительности) и *классового мышления*. «Слабоволие», «слепота», «потеря классового чутья», «неясное представление о смысле классовой борьбы» могут быть рассмотрены в рамках *политической гипопсихологии*: «...Не понимали, не могли уяснить своего плачевного положения и той тины вонючей обывательщины и утери классового чутья, которая в условиях отсутствия рабочей демократии их засосала...» (*Правда*, 12.05.28). Изменения по этому профилю выразительно именовались «разложением». Оно проявлялось в «растратах, пьянках, разврате, сращивании с кулацкой верхушкой, полном извращении классовой линии». Разложиться мог только субъект, изначально наделенный нормальной политической конституцией, как, например, бывший член РСДРП, инженер Калнин, проходивший по делу вредителей: «Я политически совершенно разложился» (*Правда*, 8.05.28). В рамках советского политического дискурса обозначились две группы причин этой идеологической инволюции: осознаваемое попустительство разложению («И вот верхушка губкома ухитрилась не заметить, не понять смысла этих фактов») и тлетворное влияние настоящих политических злодеев: «Остатки разбитых враждебных нам классов начинают полегоньку обволакивать наших пролетариев-комунистов, руководителей учреждений, которые иногда даже погибают». В качестве главного оберега от этих бед рассматривалась «жесточайшая самокритика». Появление в 1929 г. конструкта «бессознательное вредительство» (кампания

против матвеевщины) сделало грань между «злой волей» и «политическим безволием» прозрачной.

Измена (предательство) и ее ядро – *«злая воля»* и *«холодный расчет»* – в советском политическом дискурсе представляют самый тяжкий вариант искаженной психологии «внутреннего врага». Наделенный такой политической конституцией души (*альтернативной психологией*) субъект неисправим, безнадежен и крайне опасен с точки зрения власти, выступая как полноправный агент классового зла в структуре советской действительности.

В рамках проекта воспитания нового человека носители альтернативной психологии критически интерпретировались (выбраковывались) как не поддающиеся формовке: «Самое трудное, но и самое прекрасное и героическое это – изжить старого человека и нажить нового» (А. Сольц). Процесс против спецов-вредителей и последовавшая за ним кампания подготовки новых советских кадров, по сути, выступили как одна из версий этой политико-антропологической селекции. В обвинительном заключении прокурора по делу шахтинских вредителей «старые психологические навыки спецов» были помянуты как квинтэссенция их вины перед советским народом и неопровержимое доказательство классовой враждебности. Вне всякого сомнения, главные вредители на шахтинском процессе устойчиво опознавались как изменники («отмежеваться от подлой кучки предателей Октябрьской революции»; «товарищеская поддержка советским специалистам – смерть предателям», «говорят о продаже Донбасса, о предательстве, о государственной измене», – и это еще далеко не весь перечень ярлыков, навязанных спецам в ходе кампании протеста, организованной в советской печати).

Построенная на конструктах абсолютного отчуждения и враждебности, психология изменника в советском политическом дискурсе была представлена как сильный психотип. Вместо сниженных характеристик – безумия и глупости – политических отщепенцев начала 20-х гг. («бело-эсеровские дурачки», «идиотское восстание эсеров», «глупость может становиться величайшим преступлением») новые версии предательства описывались в конструктах знания, интеллекта, осведомленности, проницательности, коварства, мощи: «Враг умен. Его ходы хитро и тонко рассчитаны. Он приспособится к какой угодно обстановке. Он способен пролезать через самую узкую щель» (*Правда*, 11.01.29). Подвижки в интерпретации политического противника обозначил Сталин на 8-м съезде комсомола: «Преуменьшать силы врагов рабочего класса – преступно». Исключительная выраженность силы и перечисленных выше качеств выдавали в противниках отъявленных политических злодеев.

Однако на отрицательную сущность политических персонажей, прежде всего, указывала их «злая воля».[6] Использование конструкта, входящего в дискурсивное ядро отрицательной сакрализации (приписывавшегося всем агентам зла – от падшего ангела до последней ведуньи), позволяло безошибочно идентифицировать тотальную враждебность врага и придать абсолютно-оценочный характер действиям и поступкам политического персонажа. «Злая воля» стала одним из основных обвинительных конструктов на процессе шахтинских вредителей. Когда адвокат Л.А. Меранвиль призывал «не так сурово расценивать их (спецов) злую волю», было очевидно, что далеко не в последнюю очередь спецы обвинялись за идеологически-дефективную психологическую конституцию.

«Злая воля», фиксирующая отрицательную сущность политического субъекта и его персональную ответственность за выбор социального кредо, позволяла отделить предателя-изменника от политически одержимого, не ведавшего, что творит. Это соотношение злобного волюнтаризма и рационального контроля на языке эпохи звучало политическим оксюмороном: «Сознательно и преднамеренно бешено обостряют борьбу». Действительно, помимо «злой воли» альтернативную психологию характеризовало наличие гипертрофированной осознанности: «Но мы-то знаем, что саботаж в борьбе против новейших иностранных методов (...) меньше всего является безумием – чаще здесь действует холодный расчет, ползучее вредительство людей либо политически враждебных, либо цепляющихся за должности» (*Правда*, 25.10.29). «Холодный расчет» использовался для дополнительной маркировки меры политической испорченности: «Здесь судят не за ошибки, а за холодный расчет». Это противопоставление непреднамеренного/преднамеренного действия позволяло аргументировать причастность конкретного политического персонажа к классовому злу. Эффект только усиливала термическая метафора, позволяющая судить о степени порочности врага, не

[6] Волюнтаризм в советском обществе, как известно, оценивался как одна из предпосылок к политическому грехопадению: «Да, я против свободы, начиная с той черты, где свобода превращается в разнузданность... превращение это начинается там, где человек, теряя сознание своей действительной социально-культурной ценности, дает широкий простор скрытому в нем древнему индивидуализму мещанина и кричит: «Я такой прелестный, оригинальный, неповторимый, а жить мне по воле моей не дают». И еще хорошо, если он только кричит, потому что когда он начинает действовать по воле своей, так в одну сторону он становится контрреволюционером, а в другую – хулиганом». Ценность человека определяется мерой его социальности, в остальном же человеческая природа негативна в своей политико-криминальной деструктивности. Это обличение негативной природы человека, принадлежащее М. Горькому, было процитировано Ю. Андроповым, что лишь подчеркнуло преемственность советских политико-психологических концепций. См. Андропов, Ю. 1983: *Избранные речи и статьи*. Москва, 143.

знающего сомнений и душевных терзаний («черная душа», «каменное сердце») на пути своих злодеяний.

В языке власти (с 1934 г. и в УК) вредительство квалифицировалось как «сознательное причинение ущерба». Таким образом, степень осознанности – категория психологическая – выступала в советском политическом дискурсе как мерило виновности и враждебности, а главное, как основание для политико-юридической квалификации преступления: «Подсудимый Цихоцкий упорно отрицает вину, доказывая, что порча станков носила случайный, не вредительский характер» (*Правда*, 9.04.29). Сознательность, отделяющая вредительство, скажем, от халатности, стала одной из его ядерных характеристик: «Эти случаи стали учащаться и принимать более сознательный характер», – именно так пишет *Правда* (24.05.28) о возникновении вредительства. Сознательность (наряду с другими психологическими характеристиками противника) оказалась беспроигрышным аргументом обвинения, поскольку не нуждалась в фактических доказательствах. Будучи просто приписанной обвиняемому, она радикально изменяла качество и серьезность его проступка: «Сортировки также не соответствовали шахтам... Вся эта вредительская работа производилась Калагановым вполне сознательно по плану организации...» (*Известия*, 24.05.28).

Одна из категорий истмата, характеризующая «специфику протекания процессов общественной жизни» – сознательность,[7] в рамках советского политического дискурса выступала как политическая версия осознанности, как наличие четких представлений об идеологических мотивах собственного поведения. Рост сознательности советского человека, стимулировавшийся властью, фиксировался на фоне разоблачения черной сознательности политического противника. Идеологическая подоплека и размах отличали советские практики анализа биографии от классического психоанализа. И еще одно. Если для психоаналитика важно поместить неосознаваемый материал в поле сознания, тем самым, укрепить позиции Эго, то партийному аналитику, усиливающему позиции власти, требовалось доказать факт изначальной осознанности всех разновидностей активности потенциального противника. Зачастую эта осознанность возникала задним числом в ходе директивной реинтерпретации персонального опыта: «– Что ж, это делалось сознательно? – Я видел это и молчал, может быть, и сознательно» (*Правда*, 26.05.28). В

[7] Актуальный политический язык 20-30-х гг. позволяет опровергнуть современные представления об одномерном толковании «сознательности» как положительного социального навыка из арсенала советского человека. См., например, *Толковый словарь языка Совдепии* (СПб., 1998): «Сознательность – умение, способность правильно понимать и оценивать окружающее».

этом случае сознание ограничивалось признанием собственной вины и достоверности версии власти.

Мир поглощенных причин

В газетах пишется, подикося, не даром:
Тут уничтожены две фабрики пожаром,
Там невзначай сгорел завод,
«Ведется следствие». И вот –
Еще при помощи карательного свода
Не уничтожен корень зла,
Как от соседнего завода
Осталась черная зола!

Демьян Бедный

Мир поглощенных причин – именно так следовало бы обозначить универсальную версию каузальности социальных дисфункций, в рамках которой стало возможным появление вредителя. Ранее было показано, каким образом в 20-е гг. трансформировалось представление о детерминантах психической активности враждебных персонажей и как эта трансформация была использована в политических целях. Преобладание интрапсихических факторов над интерпсихическими, диктат аксиологически маркированного волюнтаризма и тотальной сознательности в сфере социального поведения – вот основные величины, определяющие психический склад нового классового противника. И все же понять своеобразие вредителя невозможно, ограничившись обзором политических оценок его душевной конституции, не приняв во внимание своеобразия производственно-экономических интерпретаций в советском политическом дискурсе 20-х гг.. Наибольший интерес в этой связи представляет официальная модель восприятия хозяйственных затруднений и дисфункций.

В июле–августе 1924 г. в рамках всесоюзной пропагандистской кампании за повышение производительности труда печатный орган Северо-Кавказского Крайкома ВКП(б), *Молот* поместил серию показательных публикаций, оценивающих влияние различных факторов на эффективность производства. В передовой от 24.07.24 были обозначены две группы причин, в равной мере определяющих низкую производительность, – «объективные» («ухудшение оборудования», «понижение качества сырья», «низкая нагрузка предприятий») и «субъективные» («уменьшение квалификации рабочих», «недостаток квалифицированной рабочей силы», «понижение интенсивности труда», «недостаточное использование рабочего дня», «увеличение прогулов», «снижение дисциплины»). Речь шла о выявлении общих дефектов

процесса в деперсонализованном поле ответственности. Всего через две недели человеческий фактор уже был назван основным условием эффективности производства. При этом провинциальная редакция с недопустимой для идеологического рупора откровенностью сообщила об основаниях этого предпочтения: «Конечно, лучше было бы начать с устранения объективных причин… но начать с этого мы не можем ввиду бедности нашей республики. Поэтому придется начать с субъективных» (*Молот*, 5.08.24). Персонализация хозяйственных затруднений вполне могла стать фундаментом для историй о масштабной экономической контрреволюции. Результатом пятилетних усилий по позиционированию факторов влияния в экономической сфере стала окончательная фиксация приоритета субъективного. В 1929 г. «Безбожник у станка» писал:

> Некоторые наши хозяйственники ссылаются на объективные факторы, которые де мешали выполнению программ. Они говорят и говорят о плохом сырье, о недостатке специалистов и квалифицированных рабочих, об изношенном оборудовании и еще о многом-многом другом. Мы же знаем, что главное не в объективном факторе, а в субъективном.

Персональная ответственность за состояние советской экономики регулярно декларировалась в ходе всесоюзных кампаний 1924-1927 г. – от борьбы за рационализацию до битвы с бесхозяйственностью, простоями и прогулами. Результат не заставил себя ждать: за экономическими прорехами был обнаружен сильный, влиятельный, незримый, а потому вдвойне опасный, противник. То, что в политико-экономическом тезаурусе начала 20-х называлось «наши маленькие недостатки», в конце 20-х стало «их серьезными преступлениями». Субъективный фактор, представленный, прежде всего, сильными и опасными врагами советской индустриализации, позволял оставить вне подозрений основания экономической политики власти и фактическое состояние советского хозяйства. На 8-м съезде комсомола Сталин предложил рассматривать хозяйственную проблему как маркер существования врага: «Неверно, что у нас уже нет классовых врагов, что они побиты и ликвидированы. Нет, товарищи, наши классовые враги существуют. И они не только существуют, но и растут… Об этом говорят наши заготовительные затруднения…».[8]

В основе историй о вредителях лежит не только гиперперсонализация экономических затруднений, но и особые мутации каузальности в системе случайное/закономерное. Отношение к причинам несчастных случаев здесь может выступать одним из индикаторов политического конструирования хозяйственных событий.

[8] Сталин И. Собр. соч., т.11, 125.

В рамках советского политического дискурса с 1923 по 1928 г. оценка причин ЧП на производстве изменялась от «небрежения» к «преступлению». В начале 1924 г. на Буденовском руднике обрушился каменный пол надшахтного здания. В беспечности был обвинен технадзор – знавший, но не предотвративший. В рамках центрированного на персональной вине советского политико-юридического дискурса происшествие предполагало виновных, однако их проступки описывались в категориях «непреднамеренного» (случайного). Это, в свою очередь, определяло меру возлагаемой ответственности. Так, в июле 1924 г. на Предвинской плотине «повалилась установленная ферма и придавила семь рабочих». Суд признал заведующего работами инженера Твердилова «виновным по 108 ст. УК (халатное отношение к служебным обязанностям) и приговорил его к лишению свободы без строгой изоляции и без поражения в правах на 1 год. Наказание считать условным». В апреле 1926 г. на заводе «Укртекстильтрест» рухнул огромный навес, построенный из списанных рельс. Лаконичное сообщение об аресте руководителей находилось за пределами политических коллизий. Обвинение в халатности было предъявлено на фоне всесоюзной кампании по расследованию причин несчастных случаев (прежде всего, в горной промышленности), развернутой в феврале-мае 1926 г. в центральной прессе. Стремление власти сделать основания происшествий прозрачными удалось лишь отчасти: было поименовано немногим больше трети причин (10% по вине рабочих и в 16% случаев виноват технадзор) (*Правда*, 2.04.26). Безымянные факторы оставались за пределами контроля со стороны власти и не могли иметь политического применения. Власть была бессильна не только предотвратить производственные происшествия, но и адекватно их назвать. Например, *Правда* в июне 1926 г. сообщает о «производственных недочетах» – взрыве главной паровой турбины, остановившем работу крупной фабрики.

Превращение небрежности в преступление отрабатывалось на эпизодах с размытой персональностью: «Крушение произошло из-за преступно-небрежного отношения как со стороны ряда лиц из аппарата управления и агентов участка, так и всего состава испытательной кампании» (*Правда*, 1.01.27). В то же время действия поименованных лиц, по-прежнему квалифицированные как небрежность, в конце 1926 – начале 1927 гг. оценивались несколько мягче. Например, в январе 1927 года в *Правде* (раздел судебной хроники) появилось сообщение о судебном разбирательстве по делу о взрыве на заводе «Клейтук» из-за *случайной* подмены сжатого воздуха кислородом. Главный механик был обвинен в проявлении «недопустимого на производстве небрежно-легкомысленного отношения к своим обязанностям». Но даже квалификация действий как «халатно-преступных» подразумевала

лишь разные степени небрежености и недобросовестного отношения к исполнению обязанностей (леность, равнодушие, легкомыслие, беспечность и пр.), но никак не сознательное причинение ущерба (в этом смысле Заславский был прав, говоря о принципиальной новизне вредителя).

Ситуация несколько изменилась с появлением серьезного внутреннего врага – троцкистской оппозиции – «людей, которые вредят и которые станут вредить...». Этот политический соперник рассматривался как потенциальная помеха в социалистическом строительстве, источник промышленных затруднений и опасностей. Так, в экзальтированном обращении к 15-у съезду рабочих Макеевского завода («Долой оппозиционеров, мешающих строить наши домны!») уже различим политический код, который через несколько месяцев будет использован в деле шахтинских вредителей. Выступая на пленуме Моссовета в день публикации первых материалов по шахтинскому делу, Рыков покаянно призывал к бдительности и артикулировал новый взгляд партии на случайности в экономической сфере: «... Мы с вами плохо стали доглядывать. За это говорит и то обстоятельство, что, например, пожары у нас стали случаться слишком часто и часто горит именно то, что нам особенно дорого» (*Правда*, 10.03.28). В ходе практического использования марксистской сентенции о непознанной закономерности случайного был радикально реинтерпретирован характер причинно-следственных связей в ситуации производственных происшествий или дисфункций. В поисках закономерностей были сведены воедино частота неполадок, важность объектов, на которых эти неполадки зафиксированы, и гипотетические субъекты, которым все это выгодно.

Изменение интерпретативной интонации быстро отразилось на оценке рядовых (в прежних системах координат) происшествий на производстве. За апрельской статьей «Головотяпство или злой умысел» вскоре последовало пространное размышление о неполадках со станками: «Что здесь имеет место: преступность или халатность – трудно сказать. Во всяком случае, если даже здесь только халатность, то она близко граничит и с преступлением» (*Правда*, 16.05.28). Поводом для поиска закономерностей в повседневных оплошностях стала их масса (например, протекающая и после ремонта крыша в механическом цеху стала вызывать подозрения рабкоров). Но главное, произошла фиксация изменившейся установки пролетария в отношении к случайному происшествию: «На заводе им. Марти (в Николаеве) слишком много недочетов. Их так много, что масса рабочих вправе сомневаться в случайности административных ошибок и промахов». Количество дефектов стало официальным предлогом для их качественно иной оценки.

В этих условиях прежние системы категоризации случайных происшествий оказались неэффективными, возникла потребность в новых системах классификации «наших неполадок», соответствующих актуальным политическим версиям каузальности: «Есть такой в Донбассе термин – добродушно-бесформенный, всеобъемлющий и как бы даже всеоправдывающий: неполадки... Подметка в сапоге оторвалась – неполадка. Затопили шахту – тоже неполадка» (*Известия*, 20.04.28). Серьезные экономические происшествия, ранее воспринимавшиеся как случайность, ошибка, непреднамеренное действие, в условиях индустриализации и плановых гонок первой пятилетки нуждались в дополнительной маркировке. Прежние термины – «халатность» и «бесхозяйственность» – не отражали нового политического статуса промышленных событий. Он был объективирован в политико-психологических конструктах – преднамеренных враждебных действиях и злой воле политического противника.

Статья, помещенная в *Правде* от 1.05.28 – «Поджог» – наглядно демонстрировала переход к новым стратегиям приписывания причин. Речь шла о пожаре, возникшем на фабрике «Красный химик», когда истопник Уткин жарко натопил печи, закрыл дымоходы и ушел домой. Следствие предполагало, что находившаяся в помещении сухая пряжа загорелась. Были зафиксированы традиционные знаки халатности – отсутствие инструкций о предельных нормах температур, не было воды и т.д. Суд квалифицировал происшествие по старинке как пожар (случайное возгорание) и халатное отношение к служебным обязанностям. Репортер, представивший сообщение об этом судебном разбирательстве в центральную партийную газету, использовал каузальные коды, более адекватные текущей политической ситуации, и назвал материал «Поджог» (что подразумевало существование злого умысла, уже включенного в новые модели политико-правовой интерпретации). Надо сказать, что отставание юридических интерпретативных кодов от политико-публицистических наблюдается не только в описанном случае: то же вредительство было включено в юридический тезаурус (в виде статьи УК) только к 1932 г., значительно позднее нашумевших политических процессов.

Модификация каузальности случайного в рамках советского дискурса позволила обнаружить целые серии не фиксируемых прежде событий, находившихся за порогом политико-правовой перцепции: «Не участвовавшие в организации инженерно-технические работники могли объяснить себе «производственные неполадки» случайностью. Факты вредительства могли проходить для непосвященных лиц совершенно незамеченными» (*Правда*, 23.05.28). Новое отношение к судьбам случайности, к провоцирующим эти случайности субъектам и к тем, кто не способен к новому восприятию

ситуации, было сформулировано устами генсека: «Тут все увязано в узел классовой борьбы международного капитала с советской властью, и не о каких случайностях речи быть не может». В новой редакции экономической реальности случайных событий уже не существовало,[9] были лишь лица, не посвященные в истинные причины происшествия.

Новый язык и шахтинское дело

Шахтинским вредителям вменялся в вину целый комплекс хозяйственных преступлений – от затопления шахт, нерационального использования оборудования до нарушений техники безопасности и производственных конфликтов. Этот набор был известен советскому человеку как экономические проступки (от бесхозяйственности до преступной халатности). Новы были не события, а способы их маркировки, на что указывало сосуществование различных моделей интерпретации во время шахтинского процесса.

Рядом с обвинительным заключением по делу шахтинцев была помещена статья «Рационализация без плана и системы» (*Правда*, 10.05.28) о неиспользованных врубовых машинах и конвейерах, к которым не хватает запчастей и конструкция которых не соответствует условиям выработок. Это было квалифицировано как «бестолковая рационализация». Однако те же самые эпизоды на шахтинском процессе были расценены как «конкретный акт вредительства»: «...Покупка 10 штук пневматических врубовых машин для подготовительных работ. Машины эти хорошего качества, но при общей установке Донбасса на электричество оказались пока ненужными» (*Правда*, 11.05.28). «Бестолковую рационализацию» от «вредительства» отличал только «злой умысел», обнаруженный властью.

Конструкт «вредительство» принадлежал новому языку, позволявшему фиксировать политико-психологический состав экономических преступлений. Неудивительно, что обвиняемые-шахтинцы показали сомнительные успехи в овладении новыми понятиями и моделями интерпретации. Например, инженер Шалдун для обозначения собственных экономических проступков использовал старый интерпретативный код – «была бесхозяйственность», «были ошибки», «был недосмотр» – и указывал на непредна-

[9] В. Паперный описывает этот процесс сквозь призму этической онтологии, свойственной Культуре Два: «Из-за того, что культура 2 не знает случайных событий, ей приходится конструировать особую мотивацию поведения «вредителей», наделяя их врожденной и абсолютно бескорыстной тягой ко злу. Это такое зло, от которого никому не становится хорошо. Это зло во имя зла. Этому злу свойственна, как сказал Вышинский на процессе Пятакова, «дьявольская безграничность преступлений». См. Паперный, В. 1996: *Культура Два*. Москва, 193.

венность», «были ошибки», «был недосмотр» – и указывал на непреднамеренность этих действий. Столь неэффективный в условиях буксующей индустриализации код уже не устраивал власть. Поэтому официальный комментарий к этому покаянию был категоричен: «Не признает себя виновным, точнее, признает вину во всем, кроме вредительства – «вредительством я не занимался»» (*Правда*, 20.05.28). Другой обвиняемый также использовал устаревшую политико-экономическую риторику, говоря о нерациональном характере своих действий (конструкт «нерациональный» вошел в активный обиход во времена кампании за рационализацию 1926-1927 гг., маркировал незначительные административные проступки администраторов и спецов): «Подсудимый признает себя виновным в том отношении, что работа машин была им нерационально использована» (*Правда*, 24.05.28). Однако нерациональность противоречила основному поведенческому клише вредителя - сознательному причинению ущерба. Оба описанных эпизода приходятся на первую половину судебного разбирательства, для которой было характерно отчетливо различимое «двуязычие» (подсудимые и их судьи использовали различные коды).

После месяца публичных прений и аккуратного перевода с языка бесхозяйственности-халатности на новый политико-юридический диалект вредительства ситуация изменилась. Вместе с новыми конструктами следствие навязывало обвиняемым новые версии событий, новые стратегии поведения, новые формы идентификации. Показательно высказывание обвиняемого Горлова: «Очутившись перед следственными властями, я сначала не понимал, в чем моя вина. Но когда меня спросили, как мы работаем, я не мог сказать, что хорошо» (*Правда*, 6.06.28). Осознание преступности собственных действий произошло у этого спеца после воистину психотерапевтической работы следствия, нацеленной на развитие политической рефлексии профессионального опыта и качества трудовой активности. В процессе следствия и судебного разбирательства происходило расширение поля преступной деятельности в сознании самого обвиняемого и наблюдателей процесса: нейтральные ранее факты становились «грязными» и «преступными»: «...свои сношения с польскими представителями раньше не считал преступными: только сейчас он понял, что совершил грязное дело». Другой обвиняемый – инженер Сущевский – признал следственный нарратив, поясняющий его, Сущевского, вредительскую деятельность как «общее непринятие мер к поднятию благосостояния рудников», не отражающим жизненные события, но когерентным и убедительным (*Правда*, 9.06.28): «Факта этого не было, но так нужно рассматривать». Действительно, в рамках старого языка экономических дисфункций это «общее непринятие мер к поднятию благосостояния» было лишено не только состава преступления,

но и юридического смысла, на худой конец, должно было рассматриваться внутри профессионального сообщества без привлечения судебных органов. Однако в рамках новой системы координат – тотальной персонализации действий, возложения политической ответственности, диктата сознательных поступков – профессиональная биография Сущевского переписывалась, в ней возникали новые квазисобытия, требовавшие правовой оценки. Выражаясь словами репортера *Правды*, «подсудимый силой логики постепенно приходит к выводам государственного обвинения». При этом перед следствием стояла довольно непростая задача – создать новую версию экономической реальности и вписать в нее субъектов, действовавших до этого акта творения.

Алгоритм включения в новую реальность свидетелей и обвиняемых был един: осознание бремени бытия в новых конструктах и интерпретациях и обнаружение с их помощью неизвестных прежде форм социально-экономического поведения. Правда, в отличие от спецов, упорствующих в своем неведении и крайне неохотно принимавших версию вредительства для интерпретации собственной деятельности, потенциальные носители актуального языка власти (свидетели-пролетарии) при помощи волшебного слова «вредительство» восполнили категориальную нехватку в описании промышленных дисфункций: «Теперь я понимаю, что это было вредительство, но тогда только приходилось догадываться, жаловаться, кричать… Машины портились» (*Правда*, 31.05.28). Следует отметить, что в рабкоровских заметках (например, рубрика «Каленым пером», своим названием наводящая на мысль о телесных экзекуциях) обличительный и обвинительный тон уже со второй половины 1926 г. не соответствовал мягким маркерам идентичностей и нечувствительным санкциям («Вот теперь мы, рабочие, посмотрим, как он будет отвечать! Красный суд, очередь за тобой, воздай по заслугам за такую халатность!»). Теперь противоречие между пролетарской экспрессией и официальными знаками происшествий было снято.

Бойцы экономического фронта

У шахтинского вредительства было и другое название – экономическая контрреволюция в Донбассе. Если с точки зрения экономических дисфункций действия спецов были интерпретированы как сакральная персонализация халатности и бесхозяйственности, то их политическую активность (структуру и иерархию подпольной организации, алгоритм контрреволюционной деятельности и шпионажа, а также модели финансирования) советская юридическая машина восстановила дедуктивным методом по

кальке экономической контрреволюции и шпионажа, сложившейся в ходе судебных разбирательств 1923-1928 гг.. Экономический шпионаж и экономический бандитизм на Днепровском металлургическом заводе, экономическая контрреволюция на Кадиевских рудниках, в одесской гостехнической конторе и на одесском маслобойном заводе – вот далеко не полный перечень этих процессов. Полигоном для апробации моделей экономической контрреволюции оказалась Украина. Первый контрреволюционный порыв удивительным образом совпал по времени с распределением иностранных концессий, а следующий приступ пришелся на кульминацию 1-ой пятилетки и внес свои коррективы в интерпретацию трудностей индустриализации.

Начало политической типизации экономической контрреволюции положило дело инженеров Днепровского металлургического завода, о коллаборационизме которых *Правда* сообщала в апреле 1924 года как о явлении «чрезвычайно характерном»:

> Экономический отдел ГПУ раскрыл на Украине чрезвычайно характерную и, повидимому, довольно широкую кампанию дельцов, которые, внешне признав советскую власть и выполняя ее задания, на практике работали на своих прежних капиталистических хозяев и проводили их директивы (*Правда*, 17.04.24).

Здесь уже определена универсальная схема экономической контрреволюции, просматривающаяся во всех остальных процессах: инженеры, выступающие в роли двойных агентов (вероятная идентичность – «двурушники», «внутренние враги», «изменники и предатели»), сохраняют связь с прежними хозяевами (топос – «заграница», идентичность – «внешний враг», «зверь-капитал»), незаметно наносят серьезный урон советской промышленности. Обязательным мотивом становится и продажность технической интеллигенции, а значит, ее политическая ненадежность:

> ...На собрании ответственных работников и спецов... он (инженер Жарновский) прямо предложил проводить работу по указке бежавшего правления... Получили крупное жалованье – не каких-нибудь жалких 30 серебряников, из-за которых навеки ославил себя злополучный мифический Иуда, – что сломило все «нравственные колебания» перед грязной предательской ролью, взятой на себя этими господами (там же).

Спецы поставляют за деньги информацию – секретную или скрываемую от советской власти («постоянное осведомление прежних хозяев о положении дел, скрываемом от советской власти») – и готовят (сберегают) производство к приходу концессионеров (позднее этот эпизод был усилен: инженеры готовились к вторжению внешнего врага). Сообщение о раскрытии полит- экономического преступления обязательно снабжается сообщением о его генерализации: «... Раскрыто не единичное дело, а клубок столь же грязных дел, в которых соучаствовали инженеры Кадиевских рудников, занимавшиеся своей гнусной работой около четырех лет». Казус превращается в

использована, например, в деле инженеров и технического персонала одесского маслобойного завода в октябре 1925 г. Все, необходимое для установления тождественности с днепровским случаем, имеется: вероятность иностранной концессии и связь с прежними хозяевами, и регулярное жалованье из-за границы (плата за сведения), и щедро финансируемое поручение «не оставлять завод, охранять его». Тот же прием, но уже в всесоюзном масштабе был применен во время следствия по делу шахтинцев, когда на вопрос Рыкова: «Нет ли где-нибудь еще чего-то похожего на шахтинское дело?» – было получено множество положительных ответов.

Процесс упомянутых выше кадиевцев разразился через три месяца после Днепровского металлургического, в июле 1924 г. В нем была уточнена схема коммуникации с бывшими хозяевами рудников: обнаружен обязательный в дальнейшем медиатор – иностранное (как правило, польское) представительство:

> Центральной фигурой процесса является бывший главный инженер Кадиевского рудника Гуликов, организовавший через польское представительство в Харькове систематическое сообщение секретных сведений бывшему правлению общества в Варшаве. За передаваемые сведения Гуликов систематически получал из Варшавы денежные вознаграждения...Гуликов не отрицал фата передачи информации и получения денег (*Правда*, 16.07.24).

Включение иностранной инстанции позволяло эффектно изменять ранг предательства спецов, а, кроме того, наглядно демонстрировало тождественность внешнего и внутреннего врага. Через год после описываемого судебного разбирательства был очередной процесс по делу Днепровского завода (июнь 1925 г.), в ходе которого структура антисоветской коммуникации была доведена до совершенства: спецы объединенные в тайное общество, взаимодействуют с бывшими хозяевами при помощи дипломатов-посредников. Так вот, главный инженер завода признавался в шпионаже в пользу Польши. Однако с признанием вышла осечка, а на суде приоткрылось возможное авторство шпионской авантюры: «Шихов выдвигает новую версию: все, что он говорил о задании от польского правления, – это, видите ли, была идея, навязанная ему следствием...» (*Правда*, 10.06.25). Впрочем, эта досадная случайность (они еще были допустимы) не помешала в дальнейшем победному шествию версии о шпионаже вредителей-шахтинцев и С°.

Если с передачей сведений как элементом экономической контрреволюции все было как будто ясно, то другие эпизоды преступной активности инженеров-кадиевцев даже в устах прокурора звучали довольно загадочно: «Гуликов последовательно и настойчиво охранял недра Кадиевских рудников в неприкосновенности, не позволяя извлечь ни одного лишнего пуда угля для советской промышленности» (*Правда*, 20.07.24). Видимо, подсудимый

для советской промышленности» (*Правда*, 20.07.24). Видимо, подсудимый обладал феноменальной мощью, коль он имел возможность в одиночку (и довольно успешно) противостоять советской индустриальной машине. Сверхъестественные действия, олицетворяющие враждебность природы натиску человека-мастера, достойные троллей и гномов, в данном случае получают классовую интерпретацию и приписываются потенциальному политическому противнику. Не менее странно выглядят и обвинения, предъявленные в 1925 г. очередной группе инженеров-днепровцев:

> ...Согласно директивам общества, они должны были принять меры к тому, чтобы завод получил небольшую производственную программу и маленький штат рабочих, а также, чтобы его неработающие цеха и имущество были по возможности сохранены в целостности и неприкосновенности... Установлено, что завод был восстановлен до размеров, значительно превосходящих производственные возможности завода в ущерб финансированию других предприятий (*Правда*, 16.05.25).

Эти вычурные действия врагов социалистической экономики выдают завидную выдумку и фантазию экономической контрреволюции, а к тому же удивительно совпадают с типичным для середины 20-х гг. стандартом бесхозяйственности. В безнадежной и затянувшейся битве с этим бичом советской экономики наступил перелом, когда вместо борьбы с процессом стали бороться с отдельным человеком. На шахтинском процессе прокурор говорил об этом во весь голос: «Тщательный анализ многочисленных дезорганизующих промышленность явлений привел к обнаружению контрреволюционных преступников». Но пробой пера все же были днепровский и кадиевский процессы:

> Значение процесса для рабочих Донбасса огромно. Когда Гуликов и его сообщники были арестованы, 5000 рабочих Кадиевки в один голос заявили, что теперь им понятна причина прозябания Кадиевских рудников, и они уверены, что здесь налицо экономическая контрреволюция (*Правда*, 20.07.24).

Голос массы был необходим для легитимации идентичности «экономический контрреволюционер». Однако единства политической идентификации все же не существовало: «Технические руководители – другое дело. Они не видят в деятельности Гуликова злого умысла, а считают, что работа велась недостаточно хозяйственно вследствие недостаточного снабжения и недостатка рабочей силы». Основные аргументы защиты лежали в плоскости психологии: «Гуликов не осознавал размера своего преступления и не понимал, что его поступок является шпионажем». В 1924 г. эта версия еще имела право на существование, хотя и подвергалась идеологическому сомнению. Злая воля спецов и антисоветский расчет в их хозяйственной деятельности не были политической аксиомой, а выступали в качестве гипотезы пропагандиста: «...Можно, скорее, предположить, что некоторые из этих господ

не просто остались в Советской республике, а были оставлены капиталистами, чтобы, числясь на советской службе, нести прежнюю службу капиталу в новых условиях» (*Правда*, 23.07.24). Через четыре года шахтинское дело, воспроизведя алгоритм экономической контрреволюции днепровцев, кадиевцев etc., подтвердило идеологические домыслы 1924 г. о черной душе инженера-вредителя.

Инженер и злодейство

Грандиозность и зрелищность шахтинского процесса[10] призваны были поразить социальное воображение советского человека: в течение полутора месяцев (с 19 мая по 6 июля 1928 г.) на эстраде Колонного зала шла захватывающая битва между советским правосудием и злостными вредителями. Изюминкой политического спектакля был новый (как утверждалось властями) враг, а также небывалые прежде методы классовой борьбы. В ходе судебного разбирательства по делу шахтинцев социальное зло было классифицировано, иерархически реконструировано, промаркировано и окончательно интегрировано в структуру советской реальности.

Уникальность вредителя определяла мера его универсальности. Этот спец был мастером на все руки: топил шахты, ухудшал состояние выработок, скрывал ресурсы, портил машины, совершал поджоги, приводил в негодное состояние заводы и рудники, сохранял самые богатые пласты для грядущего буржуя и разрабатывал самые бедные углем жилы для советской власти, нарочито бесхозяйственно применял оборудование, ненужно затрачивал капитал, повышал себестоимость продукции, злостно использовал практику социалистической рационализации во вред интересам рабочего класса, вредил путем постоянных изменений структур Донугля, провокационно обращался с рабочими, занимался антисоветской пропагандой при помощи критики мероприятий советского правительства, саботировал жилищное строительство, лишал рабочих воздуха в шахтах, служил у белых, пытал, убивал, выдавал и предавал рабочих, был пьяницей, обывателем,

[10] Либретто этого политического действа – обвинительное заключение – по главам постепенно размещавшееся в центральных газетах в течение недели, должно было подготовить публику к идеологически верному восприятию происходящего. Несколько десятков тысяч человек стали зрителями публичного судебного разбирательства (ежедневно выписывалось 1600 одноразовых пропусков). Для всех остальных пресса публиковала ежедневные отчеты о ходе процесса, дополненные передовыми, очерками, фельетонами с захватывающими заголовками («Лицо врага», «Грехопадение Калина» etc.). Кульминация шахтинского процесса – вынесение приговора ровно в полночь – стала эффектным, но далеко не единственным зловеще-театральным жестом.

вором, эксплуататором, бюрократом, взяточником и шпионом одновременно, а, кроме того, подрывал военную мощь страны, готовил войну и интервенцию, разрушал советскую экономику и срывал индустриализацию*. О его радикальном вмешательстве в процесс хозяйствования и решающем влиянии на результаты выполнения пятилетнего плана говорили все – от генсека до рабкора: «Ясно, что без этого злостного саботажа и непрерывных попыток взорвать дело социалистического строительства успехи этого строительства были бы гораздо значительнее». Энциклопедизм вредителя констатировал даже государственный обвинитель Крыленко: «Все элементы политической и экономической контрреволюции имеются в данном процессе». Все, известные на текущий момент хозяйственные и политические проступки и преступления, были обобщены в типический образ вредителя (эдакое «не наше все»). Концентрат черной риторики помогал отождествить воплощение классового зла с живыми спецами:

> ...позволило обнаружить потайные закоулки и обратную сторону нашего строительства, преступный лабиринт грязи, низости, изуверства, алчных и кровожадных страстишек, лабиринт, в котором копошились бело-монархические гадюки, несущие огонь и отраву в пролетарскую среду, заражающие миазмами измены советский воздух... Это – лишенные совести и принципов рвачи, готовые служить богу и черту, это – те, которым ничего не стоит опустить рабочего в шахту и отравить насмерть ядовитым газом (*Правда*, 9.05.28).

Увы, реальные вредители не всегда соответствовали своему зловещему амплуа. О чем с некоторой досадой писали ценители политической эстетики – репортеры:

> От черной массы отделился один... Он внешне странен и как будто случаен среди суровой монументальности исторического процесса. Слишком просто, незначительно скучно говорит он. Так говорят подрядчики о продаже дров, вот так говаривают они в чайных, как он сейчас перед Верховным судом СССР, перед страной рабочих и крестьян, перед всем миром говорит о продаже Донбасса, о предательстве, о государственной измене (*Правда*, 23.05.28).

Дефект натуры, мешающий политическому зрителю и читателю выйти за пределы профанного хозяйственного криминала и постичь всю бездну злодейства инженеров, восполнялся дискурсивными приемами отрицательной сакрализации их биографии и опыта.

Была зафиксирована пространственная тотальность вредительства. Создавалось впечатление, что скрытые враги действовали везде. Политрепортеры не уставали напоминать, что некто «тайно пробрался во все наши организации». Бдительный Ульрих, срывая личину с тайного врага, отвечал на вопрос Рыкова о том, нет ли в стране аналогов шахтинского дела:

---

* Это лишь часть эпизодов, фигурировавших на шахтинском процессе.

«Есть!». И предлагал реинтерпретировать дело о поджоге Дубовицкого бумажного комбината (март 1928) в дело о вредительстве. Бухарин размышлял об универсализме шахтинского зла в терминах житейской паразитологии: «Нет гарантии, что такая гнусность не завелась в военной промышленности или в химической, хотя прямых данных для этого предположения нет, но, во всяком случае, это не исключено» (*Правда*, 19.04.28). Основательность этим опасениям придавало признание одного из обвиняемых, инженера Элиадзе: «Ведь явление шахтинского района не единичное, это можно обнаружить во всех районах, где только копни лопатой». Если верить активному вредителю, его асоциальная деятельность была не только повсеместна, но и четко привязана к подземному существованию.[11]

Временные характеристики деятельности вредителей были не менее генерализованы: вредили «из года в год», «систематически», возникала «...жуткая картина того, как за спиной советской власти из года в год с 1920 по 1928 творилось исключительно подлое дело способной на все банды контрреволюционных вредителей». Самотождественность во времени позволяла использовать знаменитый принцип аналогии – реструктурировать опыт спецов в соответствии с логикой тотального, никогда не прекращавшегося преступления: «Но, не говоря уже о контрреволюционных подвигах, имевших место до окончательного утверждения советской власти, вся деятельность подсудимых за последние годы представляла собой цепь сплошных издевательств над рабочей массой» (*Правда*, 24.05.28). Материал для этой реконструкции извлекался из биографий, деталям которых придавалось особое значение: будь то политическая индифферентность в дореволюционные студенческие годы одного обвиняемого, страсть к серым лошадям другого или оскорбительная реплика, брошенная десять лет назад третьим в сторону рабочих. Скажем, слабые познания в общественных дисциплинах позволяли обосновать злую волю в дефектах хозяйствования и доказать факт перманентной классовой отчужденности.

Вредительство, тотальное и непрерывное, до шахтинского процесса было еще и невидимым. Эта недоступность чувственному восприятию использовалась как аргумент в пользу исключительных возможностей врага («личины», «маскировка», «подло морочит нас»). Реальность существования вредителя выводилась уже из этих исключительных возможностей. post factum. Даже дефицит информации, которой располагало следствие, использовался

[11] На родовую принадлежность вредителя к нижнему миру указывает В. Паперный, фиксируя противостояние летчика («сталинского сокола») и вредителя как конкретизацию иерархии верх/низ. См. Паперный, В. 1996: *Культура Два*. Москва, 217.

для сакрализации противника в конструктах «таинственного» и «неведомого», фиксации его причастности к особой, ускользающей реальности:

> - 20.05.28 – «Сложная контрреволюционная организация в Донбасе была только шахматным ходом в игре каких-то людей, которых не называет и не может называть обвинение».
> - 25.05.28 – «И, наконец, таинственность, никому не понятное посещение шахты «Октябрьская революция» лицами, которые внезапно появлялись и так же внезапно исчезали».

Сокрытость от советского взора, кроме того, указывала на место персонажа в структуре антисоветской иерархии – чем выше, тем таинственнее и опаснее:

> Еще выше – еще больше сгущаются тучи. В грандиозном муравейнике Москвы прожектор выхватывает только три лица: Рабинович, Скоротто, Именинов... И наконец, почти сплошной туман – заграница... Здесь все недоговорено, здесь на каждом шагу тайны.

Незримость не только констатировалась, но и конструировалась в тексте. Так, за пределы очевидного уводила несоизмеримость цели и метода (когда, например, заказ оборудования у иностранных фирм рассматривался как инструмент срыва индустриализации). Однако полная визуализация вредителя никогда не могла осуществиться из-за того, что политический изъян вражеской души не подлежал радикальной экспликации.

Все, что бы ни делал вредитель, описывалось сквозь призму гипертрофированного негатива: «... систематически обсчитывали шахтеров, чрезвычайно грубо с ними обращались, не заботились об элементарной их безопасности». Негативным становилось даже приветствуемое властью начинание, например, механизация: «Механизация эта была настоящей вакханалией. Механизировалось все. Машины бросались туда, где они явно не могли дать никакого эффекта». Здесь знаком вредительства стала крайность, но гораздо сложнее выявить критерии оценки следующего эпизода.

> В отличие от других методов вредительства, применявшихся на ДГРУ, Кузьма проводил вредительство на Власовском рудоуправлении очень тонко, таким образом, чтобы вред не только не мог быть сразу замечен, но, наоборот, чтобы рудник производил впечатление цветущего предприятия (10.05.28).

Остается предположить, что речь шла не столько об экономическом криминале (поскольку признавалась рентабельность производства), сколько об онтологической сущности внутреннего врага.

Исключительный в своей политической порочности и дефективности, он оказался максимально приближен к полюсу абсолютного классового зла. На это указывают маркеры из традиционного репертуара отрицательной сакрализации («эти темные силы не смогут подорвать нашей дружной работы»,

«изменники, творящие свое черное дело», «у этого человека, наверное, была дьяволова хитрость», «дьявольский акт был задуман с большим знанием дела», «...явился демон-искуситель в виде техника Некрасова» etc.). Демонизация вредителя позволяла рассматривать метафизические мотивы его сотрудничества с бывшими хозяевами (например, «... маленького техника Беленко, продавшего свою душу старому хозяину-капиталисту»). Когда же укорененность инженеров во зле перестала нуждаться в дополнительных доказательствах, список их преступлений был без труда расширен за счет самых эмблематичных злодеяний. Например, достойная ведовского процесса метафора («несущие огонь и отраву в пролетарскую среду, заражающие миазмами измены советский воздух») получила буквальное прочтение. Плохая работа вентиляции и систем очистки воздуха в шахтах была истолкована как преднамеренное и тщательно спланированное действие: «Это – те, которым ничего не стоит спустить рабочего в шахту и отравить насмерть ядовитым газом». Сакральный характер обвинений чутко уловил один из предполагаемых руководителей антисоветской организации, Рабинович, безуспешно пытавшийся отклонить навязываемые ему идентичности «злого духа, витающего над безгрешной советской землей», и «всесоюзного вредителя». На причастность вредительства к сфере абсолютного указывал и адвокат шахтинцев, А.А. Смирнов: «Само вредительство, хотя оно и велико-абсолютно, относительно не так страшно». Ни реплики обвиняемых, ни апелляция защиты к относительной вине не возымели действия, поскольку советская юстиция приступила к работе с абсолютными категориями.

Вредитель и власть размещались на полюсах абсолютного противостояния: на участке «классовой борьбы, бешенной, непрекращающейся борьбы между мерзким старым и великим новым, между капитализмом и социализмом, между Колодубами и ленинской партией, участок, покрытый мраком, скрытый от «неудобных» взоров, особо тайный, но потому весьма опасный и ответственный» (*Правда*, 9.05.28). Реальность, к которой принадлежал вредитель, оказалась экономической версией антимира – «обратной стороной нашего строительства». По этому ведомству проходили все беды теперь безгрешного (как выразился Рабинович) советского хозяйства. Действия вредителя с точностью до наоборот воспроизводили действия лучших советских тружеников:

> – Мы ставили вопрос об индустриализации, а они отвечают срывом индустриализации. Мы строим шахты, а они всемерно мешают этому... (из речи Орджоникидзе на общемосковском собрании студентов-выпускников, в: *Правда*, 28.03.28).
>
> – Вся работа не имела никакой плодотворной системы, а наоборот, систему формального и очевидного разрушения (*Правда*, 9.05.28).

Зеркальность в таком деликатном деле как подготовка к юбилею социалистической революции отдавала святотатством и была представлена как надругательство над советским ритуалом: «Отправка в Ленинград к годовщине Октября вместо восьми вагонов угля восьми вагонов мусора» (*Правда*, 25.05.28). По своим силам вредитель был равновелик массе честных пролетариев: «Одним ударом, одним махом… похоронены великие усилия полуголодных шахтеров. Потоплены не только угольные пласты, потоплены первые вспышки пролетарского энтузиазма». Это был противник-двойник, политическая тень,[12] alter-ego героического советского человека.

Будучи политическим антагонистом ударника производства, вредитель обнаруживает удивительное сходство с этим героем труда (обезьяна стахановца?) и, по всей видимости, использует общий с ним метафизический ресурс роста. На это указывает один из политических лозунгов эпохи: «Вместе с нами растут наши классовые враги». Прочитав это утверждение в обратном порядке, можно было из образа сильного врага вывести доказательство мощи социалистического хозяйства. По словам Бухарина, рост промышленных достижений «несмотря ни на что» говорил «о глубоком неисчерпаемом запасе сил пролетариата». Троичная структура историй о вредителях неизменно заканчивалась декларацией исключительных советских успехов и достижений: отрицательная сакрализация оказывалась удачным трамплином для сакрализации положительной.

Социальная и трудовая жизнь вредителя воссоздавалась на основе советских образцов. Только так можно объяснить появление утверждений о «вредителях-новичках» и «вредителях с восьмилетним стажем», стремление следствия восстановить структуру тайной организации, подозрительно напоминающую инфраструктуру советского хозяйства («но организация имела «филиалы» и «инстанции» в Харькове, в Москве и заграницей»), размышления о возможностях планового причинения ущерба («производилась ли предварительная разработка планов вредительства?»), перенос на враждебную организацию базовой характеристики самой ВКП(б) («основным признаком организационной структуры провалившегося в конце концов комплота был строжайший централизм»). События из жизни вредителя переписывались по образу и подобию социалистического канона. Например, совместный отдых в Сочи и пляжные разговоры раздосадованных производственными проблемами инженеров в ходе следствия получили следующую интерпретацию: «Совещание длилось один день. С докладами о вреди-

[12] Рассматривая вредителя как эквивалент архетипа врага в советской политической культуре, Х. Гюнтер переносит на него специфические черты юнгианской «тени»: антагонизм герою и проективный механизм негативной идентификации. См. Гюнтер, Х. 2000: *Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон*. СПб., 750-751.

тельской работе выступили Кузьма и Березовский: первый докладывал о «проделанной работе» и ближайших перспективах...» (*Правда*, 8.06.28). Интерпретативными усилиями следствия был порожден симулякр теневой экономики, когда все структуры советской промышленности оказались продублированы виртуальными вражескими подразделениями: «Рядом с официальным техническим центром есть вредительский центр» (*Правда*, 20.05.28). Эта манихейская по своей сути процедура вошла в арсенал тоталитарного конструирования реальности.

Формальное сходство советского труженика и вредителя лишь оттеняло радикально чуждую сущность внутреннего врага, обнаруженную, как это отмечалось выше, за пределами антропологии:[13] «Стать вредителем может только тот спец, который потерял профессиональную честь, у которого, напротив, развились инстинкты жука-вредителя». Можно говорить лишь о разных степенях «расчеловечивания» кандидата во вредители. Все они заимствованы из стратегического набора традиционной демонологии – отождествление с нечистой силой («демон-искуситель техник Некрасов»), злыми покойниками («Емельян Колодуб – вампир, угнетатель рабочего класса, непримиримый опасный враг советской власти» (*Правда*, 29.05.28)) или нечистыми животными («они заговорили по-настоящему, языком волков», «бело-монархические гадюки»).

На шахтинском процессе определилось амплуа вредителя – тайный, знающий и могущественный внутренний враг, сознательный в своем зле и разрушающий социалистическое хозяйство всеми возможными средствами и на всех направлениях.

Персонализация классового зла и перманентной угрозы вышла за пределы отдельной биографии, судебного разбирательства или же противоправных действий в сферу политики сакрального. Отрицательная политическая сакрализация (демонизация) задала иррационально-архаическую модальность идеологических и юридических интерпретаций социальных и персонально-биографических артефактов (например, структуры каузальности, враждебной психологии etc.), проступила в порядке нормирования и приемах социально-политического воздействия на индивида, актуализировала мифологическую модальность советского политического творчества.

Появление вредителя стало результатом абсолютизации приемов отрицательной политической сакрализации, эксплуатировавшихся советской политической культурой на протяжении послереволюционного десятилетия,

[13] Здесь мы имеем дело с наиболее радикальным проявлением тоталитарного отказа от человеческого, описанным И. Смирновым как негативная антропология. См. Смирнов, И. 1999: *Homo Homini Philosophus*. СПб.

своя логика: вредителя можно рассматривать как порождение советского политического дискурса.

P.S. политическая магия

В январе 1928 г. по случаю памятной даты отца ВЧК один из самых идеологически чутких корреспондентов *Правды* (М. Кольцов) «внезапно» вспомнил случай, относящийся к началу 20-х. В его объемном авантюрно-мистическом очерке речь шла о препятствиях, которые пришлось преодолеть самоучке-изобретателю для внедрения своего изобретения, и о спасительном участии Ф. Дзержинского в устранении всех помех. Очерк заслуживает самостоятельного исследования, но для наших целей интерес представляет специфика описания трудностей, сопутствовавших изобретателю и его творению:

> Но... необъяснимые вещи стали твориться вокруг изобретателя. Человек суеверный приписал бы все колдовству, иначе нельзя было бы истолковать совершенно сверхъестественные явления во вполне естественной обстановке... Словно чья-то таинственная, многоопытная и чрезвычайно настойчивая рука водила всеми окружающими Трегера-людьми и даже предметами, то подхлестывая всю работу вперед, то создавая препятствия буквально на каждом шагу. Самый воздух как будто уплотнялся, то мешая шагать вперед, то толкая сзади....

Система социально-экономических и административно-хозяйственных отношений начала 20-х из января 28-го видится как мир таинственно-невидимых, но однозначно недобрых сил. Во-первых, трудности внедрения сакрализованы. Во-вторых, активность незримого врага рассматривается как набор манипуляций. В-третьих, эти манипуляции позволяют обрести контроль над людьми, предметами и, что особенно важно, над профессиональной активностью. Наконец, объективные обстоятельства рассматриваются как субъективные, наделенные политической волей (помогающий или мешающий воздух).

Концепцию реальности, в которой каждое событие рассматривается как результат целенаправленных действий, где политические силы манифестируют себя в объектах и манипуляциях с ними, где активное действие позволяет снять грань между объективным и субъектным, а потому делает персонализацию фактически безграничной и становится основанием для политико-психологического конструирования врага, будем называть политической магией.

Отрицательная сакральность вредителя магична по своему характеру:

– во-первых, вредитель является продуктом персонализации хозяйственных дисфункций, а факт его существования доказывается на основе ана-

политико-психологического конструирования врага, будем называть политической магией.

Отрицательная сакральность вредителя магична по своему характеру:

– во-первых, вредитель является продуктом персонализации хозяйственных дисфункций, а факт его существования доказывается на основе анализа состояния экономических объектов вне персонального контакта (мир экономических сил и политической воли);

– во-вторых, обязательным условием возникновения историй о вредителях становится трансформация производственной каузальности, сопоставимая с практиками партиципации;

– в-третьих, вредительство – это, прежде всего, активное и целенаправленное действие, что находит отражение и в признании обвиняемых («Первое мое вредительское действие заключалось в том, что я не установил конденсационные горшки на магистраль… в результате чего турбина изнашивалась быстрее… Второе мое вредительское действие относится также к 20 году… Третье вредительское действие относится к 21, когда я умышленно с инженером Петровым допустил свалку шлаков… в результате чего произошел пожар» (8.05.28)), и в интерпретациях со стороны обвинения (*Правда*, 23.05.28: «Они предпочитали действовать, а не болтать»);

– в-четвертых, действия вредителей, как правило, инструментальны – ограничены умелыми манипуляциями с предметами («хитрая механика»), их цель – деструкция объектов народного хозяйства («инженеры-машинаборцы» или «враги советского угля»);

– в-пятых, цепочки действий организованы в могущественные практики, позволяющие совместить общее и частное; нанося вред частному (скажем, плохо смазывая турбину), спец вредит целому (срывает индустриализацию, разрушает народное хозяйство);

– в-шестых, акцентируется исключительная роль знаний в организации вредительства (недоверие незнающего), искушенность и посвященность спецов: нужно «Разоблачить хитрую механику подсудимого, при которой ему удалось совместить эффектные достижения с участием в контрреволюционной вредительской организации, раскрыть те дьявольские приемы, при помощи которых он умудрился обратить рационалистическую работу, применение последних достижений техники в ущерб народному хозяйству» (*Правда*, 8.06.28); способность осуществлять власть над промышленными объектами на основе недоступных подавляющему большинству знаний выдает во вредителе мага индустриальной эпохи;

– наконец, эмблемы вреда, отравы, ущерба актуализируют магические практики в сфере производства (теперь вместо того, чтобы красть у коровы

молоко, ведьмаки эпохи индустриализации портят оборудование, искусственно понижают качество угля etc.).

Можно сказать, что вредитель воплотил в жизнь индустриальные страхи аграрной страны и превратился в инструмент политического использования недоверия населения к носителям технических знаний (неслучайно не только политическими, но и техническими экспертами на шахтинском процессе выступили простые рабочие).